

Константин Дмитриевич Бальмонт (1867-1942) был самым музыкальным поэтом Российской империи. Жрец музыкального поэтического ключа, он в русской литературе создал равенство поэзии и музыки. Дар его многие сравнивали с даром певчей птицы. По отношению к таланту Бальмонта это столь же естественно и справедливо, сколь неестественно сказать подобное о Маяковском, или Кручёных. Экспромтальность и темперамент его поражали... Характеризуя Бальмонта, современники говорили об «эмоциональности, воздушно-трепетной впечатлительности»...

В литературном журнале «Ежемесячные сочинения» (за июль 1900 года), издаваемом И.И. Ясинским, характерен отклик на поэтический сборник «Горящие здания», в котором рецензент пишет: «Бальмонт поэт оригинальный, глубокий, необыкновенно музыкальный. О нём можно сказать его же словами: *«Слава создавшему песню из слез роковых, / нам передавшему звонкий и радостный стих»* (с. 243).

Паустовский, побывав на лекции Бальмонта «Поэзия как волшебство», годы спустя вспоминал о поэте: «Он заговорил тягучим голосом. После каждой фразы замолкал и прислушивался к ней, как прислушивается человек к звуку рояльной струны, когда взята педаль... После перерыва Бальмонт читал свои стихи. Мне казалось, что вся певучесть русского языка заключена в этих стихах» (К.Г. Паустовский «Золотая латынь»).

О силе влияния поэта на своё поколение свидетельствовали многие. «Кто жил в годы начала бальмонтской литературной деятельности, тот отлично помнит, как сильны были эти впечатления, как могущественна и непобедима была власть его стихов. До него такой музыки мы не слышали, русский слух никогда не был избалован дотоле такой изумительной напевностью», – писал, в частности, Пётр Пильский в юбилейном очерке «К.Д. Бальмонт» (к 50-летию литературной деятельности), «Сегодня», 1936, № 33, 18 февраля.

Талантливейший писатель Борис Зайцев вспоминал о той искренности, с которой Бальмонт читал свои стихи: «Что именно, какие стихотворения он читал – не помню. Но отлично помню и даже сейчас чувствую то волнение поэтическое, которое и из него самого изливалось, и из стихов его, и на юные души наши, как на светочувствительные плёнки, ложилось трепетом. Кажется, это было из книги (ещё не вышедшей тогда) „Только любовь“... На некоторых нежных и задумчивых строфах у него самого дрогнул голос, обычно смелый и даже надменный, ныне растроганный. Что говорить, у всех четверых глаза были влажны».

А поэт Юрий Терапиано в очерке «К.Д. Бальмонт» писал, что однажды при выступлении – «...цитируя Баратынского по памяти, в двух местах Бальмонт ошибся, и тотчас же с места присутствующий на собрании пушкинист М.А. Гофман его поправил. Первую поправку Бальмонт принял, но вторая его рассердила: – Вы всё время поправляете меня, – обратился он к Гофману, – но я ведь специалист по Бальмонту, а не по Баратынскому!». И в то время это звучало не столько как пронический парадокс, но как прихотливо выраженная истина.

В том же очерке Терапиано приводит важное свидетельство самого Бальмонта о начале, о истоке его поэтического творчества. Озарение и ощущение себя поэтом пришло к нему вдруг, от переживания пейзажа: «Мне было тогда 16 лет, я ехал в санях по широкой, покрытой ослепительно-белым снегом равнине. На горизонте виднелся лес, стая ворон перелетала куда-то в прозрачном воздухе. И вот, совсем неожиданно для себя, я с какой-то особенной остротой, грустью, нежностью и любовью почувствовал этот пейзаж и понял, что я должен быть поэтом».

Природа и именно природа стала и была основой его поэзии. *Разомкнутость* в природу с детства, делали стихотворения его не только напевными, но именно естественным при всей изящной и прихотливой внезапности его эпитетов.

Детство вообще определяет весь дальнейший жизненный путь человека. Живя в подсознании, оно возвращается, порой неожиданно – звуком, запахом, воспоминанием. Бальмонт в стихотворении «Ночной дождь» писал: «...Я вспоминал. Младенческие годы. / Деревня, где родился я и рос. / Мой старый сад. Речонки малой воды. / В огнях цветов береговой откос». Здесь он, конечно, пишет о родной ему деревне Гумнищи, о имени родителей под старинным городком Шуей. О ней же пишет он и в своей автобиографической прозе.

Дорофей Бохан в «Новой искре» не без основания писал в 1936-ом году: «Бальмонта, по нашему мнению, напрасно считают родоначальником какой-то новой эры русской поэзии: как раз наоборот –

он является завершителем, последним поэтом, непревзойдённым творцом прежней пушкинской эпохи русской поэзии».

Мы можем обратить внимание на то, что эта воздушность, свобода, лёгкая непринужденность и естественность действительно свойственны как А. Пушкину, так и К. Бальмонту, рождённым в июне – Пушкин 6-ого, Бальмонт 15-го... Оба под знаком Близнеца... Оба сыны неба, воздушной стихии, оба эпикурейцы, дети Солнца.

Это вовсе не говорит о том, что у Бальмонта не было поэтических новаций. Многие знатоки стихосложения, в том числе и Вячеслав Иванов, признавали, что «некоторые размеры он даже впервые ввёл». Бальмонт был, конечно, во многом новатор-первопроходец, но не новаторство было в Бальмонте главным...

Особенность литературной судьбы Бальмонта именно в том, что он был особенно актуален в те времена, когда чувство изящного было необходимой составляющей правящего класса. Образованность была в обществе эталонирована. Широта интересов уважалась и поощрялась. А общественной силой, противостоящей аристократизму, близкому миру изящных искусств, было мещанство, о чём можно подробно прочитать в «Истории русской общественной мысли» у другого современника Бальмонта, у Р.В. Иванова-Разумника. После социалистической революции именно мещанство стало советским чиновничеством и коммунистическая идеология стала лишь щитом, за которым прятались чиновники-мещане. Демократичный Бальмонт вскоре увидел – революция не дала России свободу. И в 1920 году ему выхлопотали командировку в Париж, из которой он не вернулся.

Несмотря на всю свою раннюю декларативную революционность, Бальмонт серьёзным последовательным революционером-политиком не был. У него всё кончалось эпатажными поступками и высказываниями. Хотя, как мы знаем, были в его биографии и гласный надзор полиции, и ссылка, и изгнание...

Впрочем, ещё один современник, Д. Философов писал: «Подлинный поэт всегда „в эмиграции“, если не внешней, то внутренней. Когда поэт (*Фёдор Сологуб – ред.*) говорит: „Быть с людьми – какое бремя!“, он показывает, что он и сам понимает, какая пропасть между вещим поэтом и людьми повседневности, людьми „расписания поездов“ и биржевых бюллетеней...» (Д. Философов. «Бальмонт» // За свободу! 1927, № 93 (2125), 23 апреля). Сологуб имел в виду то, что те, кто не вдохновляет, в общении тяжелы... Это вполне приложимо к Бальмонту.

Подтверждение находим у знакомого Бальмонта по Парижу, еврейского поэта Довида Кнута: «Да, одним своим обликом и повадками Бальмонт производил впечатление „настоящего поэта“, и это приковывало к нему внимание прохожих. Одевание его было таково, будто он только что вышел из костюмерной оперы „Богема“, а внезапные переходы от отчаяния к радости, от покоя к беспокойству, грому и молниям в глазах и звуках его необычайно певучего голоса – непредсказуемыми», – писал он.

Правильно и многократно констатировано, что в России поэты больше чем творцы рифмованных строк. Порой современники Бальмонта – Вячеслав Иванов, Андрей Белый достигали истинного ясновидения. Пророчески звучат и слова Бальмонта, когда ещё в 1914 году, говоря о футуристах, он буквально сказал о «...проявлении того кричащего, безвкусного, рекламного американизма, которым отмечена вся наша изломанная русская жизнь» (Г – нь, «Беседа с К. Д. Бальмонтом», Северо-Западный Голос. 1914. № 2692, 20 марта).

Сказано это задолго до времени, когда в России телевидение стало проецировать в сознание россиян американские жизненные стереотипы, а улицы оделись вретисцем навязчивой рекламы...

Бальмонт, не жалуя индустриально-буржуазные атрибуты западной мишуры, тем не менее во все не замыкался в родной речи и литературе. Напротив, он интенсивно занимался художественным переводом, перевёл, можно сказать, целый книжный шкаф мировой классики – Д. Философов говорил об этой части его наследия: «Бальмонт не переводит. Он рассказывает о том, что именно он полюбил в переводимом поэте. Он вновь творит и заражает. Прочтёте вы точный, научный, перепертый, перевод, и остаётесь равнодушным. В переводах же Бальмонта переводимый поэт магически соединяется с самим Бальмонтом. И если вы любите Бальмонта, вы не можете не полюбить и того, кого он перевёл. Для настоящего перевода нужна конгениальность между переводчиком и автором».

И эта черта делает особенно ценным его переводческое наследие. Во Франции, ещё при жизни поэта, пропала целая корзина его рукописей, среди которых было немало переводов. Случайная находка её могла бы стать подлинной сенсацией...

Мария Викторовна Каспрович, вдова польского писателя Яна Каспровича, которого Бальмонт переводил, рассказывала Сергею Поволоцкому о хрупкости душевного мира знаменитого русского поэта: «Бальмонт восхищался чудесными горными видами, но когда пришлось возвращаться, он неожиданно побледнел и приостановился». Испуганная его видом и состоянием Мария Викторовна спросила, что с ним. Бальмонт ответил ей не сразу, еле переводя дух, слабым и тихим голосом. Оказалось, что поэт страдал болезненной «боязнью пространства» и не мог заставить себя сойти даже с небольшой высоты. Он забыл, а вернее, не хотел предупредить об этом Каспрович. Теперь, когда при возвраще-

нии на «Харенду» им пришлось сходить с горы, Бальмонт не смог преодолеть охватившего его страха. «Мне пришлось буквально тащить его на руках за собой» (Копия автографа воспоминаний из семейного архива Сергея Поволоцкого (Лодзь, Польша).

О странностях, неизбежно сопровождающих выдающиеся натуры, записано во многих биографических очерках и мемуарах. Вот и Андрей Белый в мемуарной книге «Начало века» оставил о своём собрате по перу сходное свидетельство: «Раз он (Бальмонт – Ст.А.) в деревне у С. Полякова полез на сосну: прочитав всем ветрам лепестковый свой стих; закарабкался он до вершины; вдруг, странно вцепившись в ствол, он повис, неподвижно, взывая о помощи, перепугавшись высот; за ним лазили; едва спустились: с опасностью для жизни. Однажды, взволнованный отблеском месяца в пенной волне, предложил он за месяцем ринуться в волны; и подал пример: шёл – по щиколотку, шёл – по колено, по грудь, шёл – по горло, – в пальто, в серой шляпе и с тростью; и звали, и звали, пугаяся; и он вернулся: без месяца. Е.А., супруга, уехала раз в Петербург; он остался в квартире один; кто-то едет и – видит: багровы все окна в квартире Бальмонтов: звонились, звонились, звонились; не отпер – никто; и вдруг – отперли: копотей – чёрные массы; сквозь них – бьют вулканы кровавые из ряда ламп с фитилями, отчаянно вывернутыми; среди чёрно-багровых Гоморр – очертание чёрного мужа, Бальмонта, устроившего Мартинику (т.е. извержение вулкана – Ст.А.) – не то оттого, что он выпил, не то от каприза, мгновенного и поэтического».

Поэт и переводчик Марк Талов в своей выпешней (к сожалению сокращённо) книге «Воспоминаний» пишет о Бальмонте не только как о человеке увлечённом, но и как о человеке большой душевной чуткости и сострадания: «Бальмонт познакомил меня с Мережковским, которого очень любил, часто бывал у него. В одну из встреч Константин Дмитриевич подарил мне свою книгу „Дар Земле“ с надписью: „Марку Владимировичу Талову с чувством искренней симпатии. К.Бальмонт, 1921, 9 мрт.“ Вручив книжку, Константин Дмитриевич попросил подождать: „Я переоденусь и мы с вами пойдём к Мережковским“. Был холодный день, и я пришёл в пальто, оставил его в передней. У Мережковских мы пробыли до 12 ночи. Распровавшись, вышли на улицу. Я машинально сунул руки в карманы – в одном – два апельсина, в другом – 3 пачки английских сигарет и 50 франков. Это Константин Дмитриевич мне положил. Он добрейшей души был человек, об этом просто не все знали» (М. Талов «Воспоминания. Стихи. Переводы», М., «Мик», Париж «Альбатрос», 2005, с. 26).

М. Талову вторит близкий друг Бальмонта, Марина Цветаева, знавшая его ещё в молодые её годы в Москве, оставившая посвящённые ему очерки-свидетельства их искренней и безоблачной дружбы: «На Бальмонте – в каждом его жесте, шаге, слове – клеймо – печать – звезда – поэт... Бальмонт мне всегда отдавал последнее. Не мне – всем. Последнюю трубку, последнюю корку, последнюю щепку. *Последнюю спичку*. И не из сёрдобольности, а всё из того же великодушия. От природной – царственности. Бог не может не дать. Царь не может не дать. Поэт не может не дать». (М. Цветаева «Слово о Бальмонте». Собр. соч. в 7-х тт., М.: «Эллис Лак», 1994, т. 4, с. 273). Так писала она о друге в своей неповторимой, чисто цветаевской, афористической манере...

А сдержанная и методичная Н. Берберова, автор известной и ёмкой воспоминательной книги «Курсив мой», рассказывает в ней, среди прочего, случай, как из Москвы в 1927 г. пришло фактически неподписанное письмо, от неизвестной «Группы русских писателей», имевшее обращение «Писателям мира». Это был вопль о помощи, в нём были «ноты отчаяния», связанные с запрещением многих дореволюционных писателей и изъятием их из библиотек, с жестокостью всеподавляющей советской цензуры, убившей в стране свободу слова. Письмо было напечатано в русской парижской газете «Последние новости». Но большинство побоялось открыто на него отреагировать. Особенно не поняли его те, к кому оно было обращено, писатели Запада, французские писатели. «Наконец Бальмонт и Бунин написали письма-обращения к „совести“ французских писателей». (Н. Берберова «Курсив мой», М., «Согласие», 1996, с. 276). Они двое бесстрашно осмелились открыто выступить в защиту свободы и человечности, они-то верили в возможность несправедливости и репрессий, знали о них. И тогда на этих защитников жертв произвола обрушились – Ромен Роллан и М. Горький, к которому Роллан по этому поводу обратился с письмом... На Западе не ведали, что делалось за железным занавесом в советской России, но зато это знали Бальмонт, в революционные годы голодавший и замерзавший в Москве, и автор «Окаянных дней» И. Бунин... (Надо в скобках сказать, что Бунин в своих «Воспоминаниях» неслестно писал о Бальмонте, однако в них трудно найти человека, о ком бы *нобелевский лауреат земли русской* отозвался бы доброжелательно...).

И, последним аккордом, неожиданное и высокое свидетельство о христианском покаянии Бальмонта перед его кончиной 24 декабря 1942 г. в городке Нуази ле Гран под Парижем. Свидетельствует Борис Зайцев: «... этот, казалось бы, язычески поклонявшийся жизни, её утехам и блескам человек, исповедуясь пред кончиной, произвёл на священника глубокое впечатление искренностью и силой покаяния – ведь он считал себя неисправимым грешником, которого нельзя простить».

И всё-таки есть надежда, что Бальмонту много простится за ту гармонию его лирической души, которая протягивала людям ладони, полные тепла и света. И забудутся бальмонтские страсти и неистовства,

которые были ведомы его родным, знакомым и близким. Для людей его поколения он был и остался автором любимых книг, которые бережно передавали из рук в руки, и которые потом, уже в другой России, стали антикварной редкостью, за которую книголюбы отдавали немалые деньги, «собирая» Бальмонта, жившего в той старой, легендарной России...

Завершить же хочется фразой из виленчанина Д. Бохана, красноречиво писавшего: «Но в ком бьётся любящее сердце, кто любит красоту, природу, кто живёт и любит жизнь – тот всегда будет упиваться стихами Бальмонта, погружаться в лазурное море его дивной поэзии». В наши дни, когда в России последовательно и широко отмечают юбилеи автора «Белого зодчего» и «Горящих зданий», эти слова, сказанные к давно прошедшему, прижизненному юбилею (пятидесятилетию литературной деятельности в 1936 г.), сегодня столь же актуальны.